

Александр  
БЛОК

*Сочинения*



Александр Александрович Блок

## **«Религиозные искания» и народ**

«Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся было жизни. Перед глазами нашими – несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах. Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо свое до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утонченности, исключительного себялюбия...»

**Александр Александрович  
Блок  
«Религиозные искания» и  
народ**

Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся жизни. Перед глазами нашими – несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах. Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо свое до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утонченности, исключительного себялюбия.

Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы, если бы того хотела, стать очевидной для всех. Но люди не хотят становиться очевидными, все еще притворяются, что им есть, что терять. Это понятно для тех, у кого еще не перержавели цепи всяческих «отношений», чье сознание еще смутно. Но это *преступно* у тех, кто помнит, что он родился в глухую ночь, увидел сияние одной звезды и простер руки к ней, и к ней одной.

Вся жизнь для такого человека – темная музыка, звучащая только об одной звезде. Для врагов он – «идиот», «свихнувшийся»; для

друзей – порою досадный «однодум». Это ему надо понять: ведь он – неприятное недоразумение, он никому в мире не может угодить, ибо ничему в мире, кроме увиденной им звезды, не предана его душа.

Если он поймет это, – поймет и то, за что и почему его гонят; и пусть гонят!

Если нет, – он предатель, тайный прелюбодей, всеобщий примиритель, «карьерист». Пускай бы это было преступлением против себя самого только: мало ли мошенников на свете! Но это – преступление не только личное: он убивает в себе ту страсть своей души, ту ее преданность, ту ее обреченность, которая могла бы стать в одну из черных ночей путеводным заревом для других заблудившихся людей.

Говорю я особенно о писателях: об эстетках, уставших еще до начала своей карьеры; об эстетках младшего поколения по преимуществу; о тех, кому неудобно сознать, что жизнь их должна быть сплошным мучительством – тайным и явным; должно им исколоть себе руки обо все шипы на стеблях красоты; нельзя им отдыхать на розовом ложе, чужими ру-

ками, не их руками, для них разостланном. Они должны знать, что они ответственные, потому что одарены талантами.

Если они – поэты-лирики, их должно мучить их одинокое болото, освещенное розовой зорькой; если беллетристы – марксисты ли, народники ли, – пусть помнят, что никто из них до сей поры не указал, как быть с рабочим и мужиком, который вот сейчас, сию минуту спрашивает, как быть; если они драматурги, пусть знают, что еще ни одна из современных драм не осветила по-настоящему будней жизни, не принесла «очищения».

Мне скажут, что я говорю о невозможном, о том, о чем давно пора забыть, что я наивен, что литература давно перестала играть в жизни ту роль, какую играла когда-то. Возражений много, они известны; но я все-таки говорю именно так; только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведь – звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недо-

вершенные.

Если те писатели и интеллигенты, о которых я говорю, «представители религиозно-философского сознания», то они должны были бы мучиться больше всех: тем, что они уже несколько лет возвещали с кафедры религиозно-философских собраний гордые истины, что они самоуверенно поучали, надменно ехидствовали, сладострастно полемизировали с туполобыми Попами.

Теперь они опять возобновили свою болтовню; но все эти образованные и обозленные интеллигенты, Поседевшие в спорах о Христе, их супруги и свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы, знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела. Вместо дел – уродливое мелькание слов. Тоненький священник в бедной ряске выкликает Иисуса, – и всем неловко, «неприлично» – переглядываются. Честный социал-демократ с шишковатым лбом злобно бросает десятки вопросов; в ответ – лысина, елеем помазанная: нельзя, дескать, сразу ответить на столько вопросов. Все это становит-

ся уже людным, доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам.

А на улице – ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране – «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», ненужных, – ничего в России бы не убавилось и не прибавилось! Что и говорить, хорошо сказал красивый анархист, что нужна «перманентная революция»; хорошо подмигнул дамочкам молодой поп; хорошо резюмировал прения философ. Но ведь они говорят о Боге; о том, о чем можно плакать одному, или... мало ли, как; но не в этой безобразной, разваливающейся людской каше, не при этом обилии электрического света! Это – тоже, своего рода, потеря стыда; лучше бы ничем не интересовались и никаких «религиозных» сомнений не знали, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно посплетничать о Христе.

Разве у Мережковского «религиозно-философская» известность? Нет, ведь и сам он до последних лет не забывал, что он – художник;

кто не знает теперь о его «религиозном холоде» (из тех, кто вообще что-либо об этом слышал)? А «Юлиана» и «Леонардо» перечитывать еще будут. Также и Розанов дорог отнюдь не своей нововременской «религиозно-философской» деятельностью, а своим тайным и тяжким *однодумьем*.

Мало сказать, что с религиозных собраний уходишь с чувством неудовлетворенности; есть еще чувство грызущей скуки, озлобления на всю неуместность происходившего, оскорбления за красоту, за безобразность. Между романами Мережковского, некоторыми книгами Розанова и их религиозно-философскими докладами – глубокая пропасть. Это – своего рода словесный кафешантан, и не я один предпочту ему кафешантан обыкновенный, где сквозь скуку прожжет порою «буйное веселье, страстное похмелье».

Право, человек естественный, здоровый, «провинциал», положим, непременно прямо с этих самых религиозных собраний угодит в кафешантан, и притом – в большой компании: чтобы жизнь, насильственно на два-три часа остановленная, безболезненно восстано-

вилась, чтобы совершился переход ко сну; а то еще из-за оживленной и непритязательной мордочки какой-нибудь Марты всплывет ненароком – тьфу, ты, пропади-пропадом – какое-нибудь «одухотворенное», а то и просто духовное лицо.

Что же, просвещайтесь, интеллигенты; не думайте только, что «простой человек» придет говорить с вами о Боге. Мы поглядим на вас и на ваши серьезные «искания»; поглядим, да и выплеснем – нет-нет – на вас немножко винной лирической пены: вытирайте лысины, как знаете.

Ах я, хулиган, хулиган! – Ведь все сбились с панталыку, все скучают от безделья. Дрянны все факты интеллигентской жизни этого года; и прения с попами, в том числе лишь; это – один из видов самоуслаждения – и не самый кощунственный.

Да и что могут сказать русские интеллигенты Столыпину и синоду? Даже за бездарные слова им заткнут рот, и, надо отдать справедливость, крепкой пробкой: еще лет на десять хватит. Право, не смешно, а больно смотреть на человека, который все еще пыта-

ется бунтовать (на словах, правда), а ему все время затыкают рот. Да и унижительно это для человека: уж лучше бы помолчали.

Я не говорил бы обо всем этом, если бы не имел в запасе противоположных примеров: примеров мучительных, но и поучительных для всех нас. Все эти примеры, как нарочно, исходят от людей, не Носящих сюртуков и смокингов, не гримасничающих благородной скукой и утонченностью гнилого дворянства, пишущих совсем не так, как все мы, каких бы ни было лагерей, Бог нас разберет.

Вот что пишет мне крестьянин северной губернии, Начинаящий поэт. Слова его письма кажутся мне Золотыми словами: «Простите мою дерзость, пишет он, но мне кажется, что, если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными словами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю»...

«Вы – господа, чуждаетесь нас, но знайте,

что много нас неутоленных сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда всё, что внизу кажется однородной массой; но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих. Их души, подобные яспису и сардису, их ребра, готовые для прободения»...

«Наш брат вовсе не дичится „вас“, а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от „вас“ какой-либо прибыток».

«О, как неистово страдание от „вашего“ присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без „вас“ пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то „горе-гореваньице“ – тоска злючая-клевушая, кручинушка злая, беспросветная, про которую писали Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без „вас“ пока не обойдешься, – есть единственная причина нашего духовного с „вами“ несближения, и редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно развращенных господской передней».

«Все древние и новые примеры крестьян-

ского бегства в скиты, в леса-пустыни, есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что „вы“ везде, что „вы“ *можете*, а мы *должны*, вот неодолимая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с „вашей“? Кроме глубокого презрения и чисто-телесной брезгливости – никаких».

«У прозревших из „вас“ есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете вы, и это ложь, особенно в ваших устах – так мне хочется верить. Я чувствую, что вы, зная великие примеры мученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе... Из ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто „имеет на спине несколько дворянских поколений“».

Что можно ответить на эти слова, заключающие в себе столь беспощадную правду? Как оправдаться?

Я думаю, что оправдаться нельзя. Вот так, как написано в этом письме, обстоит дело в

России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада, да с пахучих клеверных полей, которые еще Фет любил обходить в прохладные вечера, при этом «минуя деревни».

А в обеих столицах Российской империи дело обстоит иначе. Здесь устраиваются религиозные словопрения и вечера «свободной эстетики»; режиссеры взапуски проваливают сомнительные и несомненно никуда не годные сценические произведения; литераторы ссорятся и сплетничают; чиновники служат из пятого в десятое, и т. д.

В то время, как литература наша вступает в период «комментариев» (или проще: количество критических разговоров несравненно превышает количество литературных произведений), в то время, как мы в интеллигентских статьях ежедневно меняем свои мнения и воззрения и болтаем, – в России растет одно грозное и огромное явление. Корни его – не в одном «императорском периоде», на котором все мы, начиная с Достоевского, помешались, а в веках гораздо ранних. Явление это – «сектантство», как мы привыкли называть его;

всё мы привыкли называть, надо всем ставить кавычки; отбросьте кавычки, раскройте смысл, докопайтесь до корня. И выйдет, что слово это мы, как сотни других слов, произносим для собственного успокоения; его коренной смысл – широк, грозен, слово это – пламенное слово.

Принято у нас интересоваться «сектантством» только людям «толстовского» толка: позволено это Наживину, Бирюкову, Пругавину. Едва ли особенно ласкали своим вниманием это «явление русской жизни» такие люди, как Мережковский, как вообще – люди «высокой культуры», очень «образованные».

Отношение «образованных» людей к религиозной жизни народа очень остроумно и злобно определил Толстой: «отношение это похоже на отношение лакея к своему хозяину, ученому математику. Хозяин пишет на доске какие-то цифры, буквы, ставит радикалы, знаки равенства, плюсы, минусы, а лакей смотрит сзади и думает: „Как нескладно у него все это выходит, я напишу куда лучше“. И вот, когда хозяин, решив задачу, уходит, лакей стирает все написанное им с доски и сам

начинает старательно выводить и буквы, и плюсы, и радикалы, и цифры. Все это выходит у него много красивее, чем у хозяина, но – не имеет никакого смысла».

Цитирую я пятикопеечную брошюру, изданную «Посредником» (И. Наживин, «Что такое сектанты и чего они хотят»). В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журналах. Есть в них, например, описание тех страшных пыток, которым подвергали так называемых «сектантов». Многие ли из аристократических интеллигентов наших дней выдержат сибирские пытки? Все почти издохнут под первой плетью; сами сгноили себя – свои мускулы, свою волю – на религиозных собраниях и на вечерах «свободной эстетики».

Ноябрь – декабрь 1907